

Леонид Штильман

Причастие Генриха

14-я глава Требника “Чин, егда случится
вскоре вельми больному дати причастие”.

Мой дядя Генрих умирал в больнице. В палате лежали трое умирающих. Помимо моего дяди в палате были американец и марокканец. На самом деле были они евреями, но в стране, где они умирали, было принято называть людей по месту рождения. Марокканца опекали близкие и дальние родственники. От шума родственников марокканца медсестры не слышали угрожающих сигналов мониторов, и радостные посетители бегали за медсестрой и звали её к монитору. Не было предела счастью родственников – они чувствовали себя частью медицинского процесса и были уверены, что продлевают жизнь умирающим старикам. Американец с ужасом смотрел на толпы людей в палате и смиренно смотрел на жену. На дворе был декабрь, в окно дул ветерок с зелёных полей и запах цветущих апельсиновых деревьев был сильнее больничного. Детей дяди Генриха уже не было в живых, и подсознательно я чувствовал, что навещаю его “за троих”. За последние недели арабские, эфиопские и русские нянечки ко мне привыкли и после десяти вечера начинали меня подкармливать больничной едой. Большую часть времени Генрих был подключён к кислороду и терял сознание, но иногда он приходил в себя и разговаривал со мной. Я отгонял от себя тривиальную мысль, которая преследовала всех посетителей этой палаты: “А он понимает, что умирает?” и вёл с Генрихом обычную для нас двоих беседу: политика, родственники, проклятая советская власть. Днём Генрих смотрел в окно, из которого были видны Иудейские горы, и повторял одну и ту же фразу: “Какая красивая страна”, ночью молчание прерывалось фразой: “мой мальчик”. Сын Генриха погиб много лет тому назад и навсегда остался любимым мальчиком.

Генрих угасал, а я вдруг почувствовал, что хотел бы услышать покаяние. Нет, я ни в коем случае не считал, что он совершил что-то ужасное, тем более я не считал что он ангел. Его многочисленные рассказы об изменах, обманах, трусости были для меня просто частью моего дяди. Наверное, я проецировал этот последний вздох жизни на себя, и хотелось сказать самому себе – “как жаль, что...” Больше всего я боялся, что я как герой Бунина, отвечая на вопрос: “а что такого было интересного в твоей жизни?”, скажу: “У меня, слава богу, ничего такого не было, – ответил Авдей. – Вот семьдесят живу, а, благодарю бога, интересного ничего не было”.

Сегодня я планировал сидеть у Генриха до ночи. Мысли крутились между желанием избавить его от одиночества в его последние дни и услышать его последние слова. Больным в палате меняли катетеры, устанавливали капельницы и меня часто выпроваживали из палаты. В то время, когда я находился вне палаты, я думал только об одном:

В чем Генрих мог покаяться?

Может быть в том, что сам выбрал себе такое имя. В детстве его звали Инык и, при переезде в город, можно было назвать себя Михаилом или Борисом. Не стала бы его жизнь другой? Во время войны могли и перепутать с немцем и отправить в Казахстан, после войны не нужно было глядеть в паспорт, чтобы угадать в нем космополита. А тот банкет, на котором пили, передавая друг другу рог со словами: “а теперь передаю рог казаку Григорию или Ивану, или...”. Когда сосед сказал “казаку Генриху”, то тамада грустно сказал: “что-то не помню казаков с таким именем”. Действительно, жизнь могла быть другой, если бы он выбрал себе другое имя. Стоило ли в этом каяться, и было ли это действительно важным событием, которое стоит вспомнить в последний момент?

В палату вошли медсестра и врач, попросили всех выйти и со свистом закрыли занавесь вокруг кровати американца. Его жена бормотала что-то по-английски, но ей не помогло, и её тоже выпроводили из палаты. Дверь закрылась. Опций было немного – остаться у двери, сесть у телевизора или пройти по коридору. В коридоре прогуливались два старичка. Каждый из них катал подставку с шестом, на котором висел кулек с мочой. Они вели непринужденную беседу о бессмысленности разнообразия в местных магазинах, необходимости создания государственной сталелитейной промышленности и отсутствии культуры у местного населения. Как положено в светской беседе они делали друг другу комплименты. “У вас в кулечке сегодня намного больше, чем вчера. Вы явно идете на поправку”, – сказал один из них. Другой старичок тут же отпарировал: “Может быть, это и так, но цвет вашего кулечка намного лучше”.

Я вернулся в палату. Генрих продолжал спать.

А может, стоило Генриху покаяться, что женился в 18 лет и так остался на всю жизнь женатым. Жёны менялись, но сам факт пожизненной моногамии оставался. Жён своих он презирал и утверждал, что если бы он умел делать яичницу, то никогда бы не женился. Он говорил, что только первой жене он объяснил, кто кого убил – Онегин Ленского или Ленский Онегина. Разве не стоит в этом покаяться? Только в чем – в том, что презирал их или в том, что жил с ними?

Может, стоило Генриху покаяться в том, что не взял себе другую фамилию? Его мотоциклетный батальон попал в окружение в брянских лесах, мотоциклы были давно брошены и солдаты готовились к плену. Каждый хотел выжить и если бы не СМЕРШ, то все бы разбежались. Собутыльник из СМЕРША, будучи уверенным, что его сдадут первым, предложил Генриху удостоверение убитого солдата Дымова. Это был пусть небольшой, но все же шанс спасти жизнь, но Генрих не взял документа. Он не мог даже себе объяснить, почему он этого не сделал, он не смог этого объяснить и через тридцать лет после случившегося, когда при попытке записать в стукачи его спросили: “а почему в 1941 вы не взяли фамилию Дымов?” СМЕРШовец его спасал, но все же записал в дело. Наверное, не взять фамилию Дымов было ошибкой, но такой, чтобы покаяться в последний момент жизни?

Наступил ужин. В палату въехали столики с больничной едой и посетители стали кормить больных. Ни одному из больных не хотелось даже взглянуть на тарелки, но усердием родственников еда заталкивалась в рот обреченных. Обреченных? Не все ли мы обречены? Почему именно сейчас я упомянул это слово? Вспомнилось, как много лет тому назад я выпивал с только что освобожденным похитителем самолета. Он был приговорен к смертной казни, но был освобожден и все время возвращался к своим мыслям после прочтения смертного приговора. Его рассказ ненамного отличался от рассказа классика на эту же тему, но я и мой друг Женя слушали его со вниманием. Когда водки внутри нас стало слишком много, Женя угрюмо заметил: “Слушай, хватит про это. Ну, тебе сказали, что приговорили, ну, мне не сказали. Приговор-то у всех у нас есть. Только не говорят, когда приведут в исполнение”.

Генрих был приговорен, но в последние дни его жизни я старательно вставлял ему в рот кашу и вытирал рот и щетину, которой он порос за последние дни.

Может, стоило Генриху покаяться, что испугался в Берлине в 1945 году и не покинул родину. После победы жена и дочка получили разрешение посетить Генриха в Германии. Молодая семья гуляла по развалинам Берлина и даже спустилась во вновь открытое метро. В американской зоне уже открылись кафе, вокруг бегали менялы и можно было выпить кофе в непривычной обстановке разрушенного, но западного мира. С соседнего стола подошёл молодой человек и спросил Генриха, говорит ли он на идиш. После утвердительного ответа собеседник быстро объяснил, что он активист Еврейского Агентства и набирает еврейских офицеров в Палестину. Родителей Генриха уже не было в живых, жена и единственная дочка сидели рядом, никакого дома на родине у него не было, его карьера, если и была таковая, ещё не началась. Все, что Генрих должен был сделать, это встать из-за стола, перейти на другую сторону улицы и подняться на второй этаж. После этого он бесследно исчез из списка военнослужащих своей армии. Генрих испугался. Не чего-то конкретного, ни мытарства по Европе, ни пересечения моря на нелегальном корабле, ни чуждого климата, ни того, что его русская жена не полюбит нового места. Просто так. Как

говорится, что-то не пошло. Плата за страх была не маленькая – зарабатывание денег взятками, рассказы анекдотов шепотом, взятки за квартиру, за поступление детей в институты, тайное чтение Набокова и “1984”. И все равно все закончилось отъездом в Палестину, но только не тридцатилетним офицером, а шестидесятилетним нищим. Не стоило ли покаяться за это?

Генрих молчал. Может не чувствовал необходимости в покаянии, а может быть просто не было сил. А может совокупность его дачи, его любовниц, абонементов на футбол, преферанса с шахматными гроссмейстерами на сочинском пляже поставленная на одни весы вместе с израильскими войнами, в которых он не участвовал, на жару, в которую не жил, перевесили? И какая разница, читать “1984” ночью, втайне, или днём на средиземноморском пляже?

Марокканцу стало плохо и меня опять выдворили из палаты. Было уже половина одиннадцатого и вокруг телевизора оставались только родственники и сиделки, которые пришли на ночную смену. Два мужика сидели около телевизора и смотрели матч “Манчестер Юнайтед – Арсенал”. Возмущению остальных посетителей не было предела. Им очень хотелось проклинать “всех этих русских”, которые захватили все и вся, но так как нерусских врачей в ночную смену не было, они сконцентрировали свой гнев на болельщиках. На самом деле болельщики тоже были профессиональными врачами, но аттестацию завалили и работали ночными сиделками. Их противники были крикливы, но немногочисленны, так как большинство сиделок были миниатюрными филиппинками, для которых английский футбол не представлял интереса. Одному из болельщиков позвонили родственники пациента, и он в испуге, что оставил пост, вернулся в палату. Второму болельщику было уже не интересно одному следить за мячом и, с согласия всех присутствующих, телевизор переключили на канал показа мод ФТ. Наступило вечернее братство сиделок

Может Генриху покаяться, что побоялся продолжить своё наиболее интересное деловое начинание? Шли шестидесятые и расстрелов деловых людей было уже немного. Миша предложил Генриху создать артель по производству резиновых сапог. Резину можно получить по весу, а сапоги поставлять по парам. Доходность была очевидна – делаешь сапоги только 36-го размера, а оставшуюся резину гонишь налево. Только кому нужны сапоги 36 размера? Нашли друга, который заведовал складами одежды и оборудования для тюрем. Маленькие сапоги он принимал, зэксам сапоги не подходили и сапоги списывали. Деньги текли рекой, но на каком-то этапе Генрих испугался и вышел из дела. Миша продолжил на несколько лет и мирно закрыл артель. Он собрал много антиквариата и, среди прочего, чайный сервиз с портретами Наполеона и Джозефины, выполненный по заказу Наполеона. Не стоило ли покаяться в том, что только ещё немного смелости и Генрих мог бы завладеть сервизом Наполеона? Вряд ли в этом стоило каяться – Миша умер, оставив сервиз в наследство своему сыну, а тот продал его за бесценок перед отъездом в Штаты. Сын, профессор Джорджтаунского университета, пьёт из бумажных стаканчиков и про сервиз, как, впрочем, и про папу давно забыл. Нет, не стоило Генриху каяться, что рано ушёл из дела.

Я вышел за ограду больницы. У въезда в больницу стояла вереница такси. Таксисты курили и хвастались своими обманами. Один таксист с гордостью рассказывал, что одного иностранца повез кругами, а тот не заметил и заплатил за проезд из аэропорта вдвое дороже. Другой таксист рассказал, как надул налоговое управление, а третий “купил” в магазине телевизор на время футбольного матча и на второй день вернул его в магазин. Сначала мне вспомнились “три девицы под окном пряли...”, но потом я вдруг подумал о том, что на Востоке обман часто называется мудростью. Вспомнились мудрецы-обманщики из “Тысячи и одной ночи” и сегодняшняя беседа с родственником марокканца из палаты Генриха. Марокканец вспоминал, что в его школе, в качестве примера мудрости марокканцев, приводился случай из борьбы за независимость: “марокканцы подняли белый флаг, и когда французы подошли вплотную к флагу, марокканцы приподняли флаг, под которым были пулеметы”.

Я выпил свежий морковный сок и вернулся в палату

А может Генриху покаяться за то, что не выдал преступника? Генрих стал на новом месте государственным служащим и у него не было необходимости подрабатывать, но гибель сына не

давала ему покоя, он старался не оставаться один. По выходным он работал охранником на киностудии. Никто из творческих работников не знал, что их ночной сторож может цитировать Ницше и Байрона и был во всех европейских музеях. Для них он был приспособлением к двери и телефону. Один из популярных режиссёров, отец которого был известной личностью, приводил по выходным к себе в студию мальчиков, успокаивал их марихуаной и обучал ублажать себя. Позвони Генрих в полицию, не помогли бы режиссёру ни его титул, ни заслуги папы. Генрих в полицию не позвонил, сохранил свое рабочее место и не остался в одиночестве по выходным. Грех? Но не он же один видел, что происходит? Да и мальчиков тоже не тащили на верёвке в комнату к режиссёру? И, честно говоря, они выходили из комнаты в неплохом настроении. Нет, наверно, не стоило каяться в этом.

Сюзан, жена американца, сидела в стороне от всех родственников и сиделок. Услышав, что я говорю по телефону по-английски, она завела со мной разговор. Это был не очень связный монолог, который скорее походил на пьяные разговоры на поминках, чем на воспоминания. Сюзан возвращалась несколько раз к тому, как много лет тому назад они уехали из Америки. “Мы были студентами, мы были левыми и участвовали во всех протестах. Шел 1969 год, через полгода после Вудстока, мы отправились на демонстрацию в Вашингтон. Сотни тысяч демонстрантов ринулись в Вашингтон протестовать против Вьетнамской войны. Мы ехали на старом автобусе, арендованном студентами. Один из наших друзей завел разговор с моим мужем про будущий мир на Ближнем Востоке и сказал, что мир наступит тогда, когда еврейские крестьяне объединятся с арабскими крестьянами. Мой муж старался объяснить, что такого понятия как “еврейские крестьяне” нет, но его аргументы не подействовали. По возвращении в Нью-Йорк мой муж решил, что нам не по пути с этими людьми и через год мы переехали в Иерусалим”. Мне хотелось расспросить Сюзан про те далёкие времена, про Вудсток, но ее вызвали в палату – мужу опять стало плохо.

“Сынок, – прохрипел Генрих. – Принеси мне шампанского”.

Будучи уверен в том, что говорит он это в бреду, я не ответил.

“Сынок – хочу шампанского”, повторил он.

“Генрих, тебе нельзя сейчас пить алкоголь” – тихо сказал я.

“Но потом мне тоже нельзя будет пить. Мне никогда не дадут пить. Только ты мне сможешь дать шампанского. Сынок, дай шампанского!”

Я встал со стула, сказал ему: “я мигом” и выбежал из палаты. Я думал только о том, чтобы успеть купить, успеть незаметно открыть и поднести к его синим губам. Какое шампанское купить? Ему сейчас не отличить дорого от дешёвого и ради одного глотка не стоит долго искать шампанское. Купил шипучку и поехал обратно. Прибежал в отделение, у входа в палату бросился в туалет, открыл бутылку, вспоминая, что последний раз открывал бутылку в туалете сорок лет тому назад; налил шампанское в пластиковый стакан, пробрался в палату, зашторил занавеску, поставил стакан на нижнюю полку его тумбочки и приподнял кровать Генриха. Его губы дрожали, и я держал стакан почти вертикально. Капля за каплей шипучая жидкость уходила в беззубый рот, и я чувствовал, как она проходит по гортани, высушенной кислородом. Генрих отодвинул голову от стакана.

“Спасибо, сынок. Это такое прекрасное шампанское. Ты дашь мне завтра ещё?”

“Обязательно, – сказал я. – Что-то ещё?”

Генрих вздохнул и продолжил: “Я всегда платил женщинам, именно платил, а не давал подарки. Однажды, когда жена уехала с детьми на дачу, я привёл домой проститутку. Я дал ей деньги, она хорошо сделала своё дело и попросила ещё три рубля. У меня были эти три рубля и тридцать три и триста тридцать три, но я ей не дал... Она ушла и это меня преследует всю мою жизнь. Я ей не дал три рубля.” Генрих попросил опустить кровать и заснул

Через два дня я читал кадиш на его могиле.